

Журнал

Автор:

Тарас Шевченко

Журнал

Тарас Григорьевич Шевченко

«Журнал» Тараса Шевченка – це російськомовні щоденникові записи поета, які він робив протягом року після одержання звістки про можливе звільнення з заслання і до приїзду в Петербург***. Сторінки цього твору – задушевна і щира бесіда, яка відкриває перед читачами зовсім нового Шевченка, чимало уваги митець приділяє роздумам над своєю долею. Найвідомішими творами автора є «Гайдамаки», «Гамалія», «Сон», «Єретик», «Заповіт», «Наймичка», «Ісаія. Глава 35», «Давидові псалми», «Марія», «Неофіти», «І мертвим, і живим...», «Великий льох». Тарас Шевченко – видатний український поет і художник, борець за волю України.

Тарас Шевченко

ЖУРНАЛ

1857

Июня 12

Первое замечательное происшествие, которое я вношу в мои записки, суть следующее. Обрезывая сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, по-видимому, ничтожное и не заслуживающее того внимания, которое я ему оказываю, внося его как что-то необыкновенное в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном

губернском городе, то, натурально, он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилось в киргизской степи, т. е. в Новопетровском укреплении, где подобная вещица для грамотного человека, как, например, я, дорого стоит; а главное, что не всегда ее можно достать и даже за порядочные деньги. Если вам удастся растолковать свою нужду армянину-маркитанту, который имеет сообщение с Астраханью, то вы все-таки не ближе как через месяц летом, а зимою через пять месяцев, получите прескверный перочинный ножик и, разумеется, не дешевле монеты, т. е. рубля серебром. А случается и так, и весьма часто, что вместо ожидаемой вами с нетерпением вещи он вас попотчует или московской бязью, или куском верблюжьего сукна, или, наконец, кислым, как он говорит, дамским чихирем. А на вопрос ваш, почему он вам не привез именно то, что вам нужно, он вам пренаивно ответит, что мы люди коммерческие, люди неграмотные, всего не упомнишь. Что вы ему на такой резонный довод? Ругнете его, он усмехнется, а вы все-таки без ножа останетесь. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа – событие, заслуживающее бытописания. Но Бог с ним – и с укреплением, и с ножом, и с маркитантом; скоро, даст Бог, вырвуся я из этой безграничной тюрьмы. И тогда подобное происшествие не будет иметь места в моем журнале.

13 июня

Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится. Теперь еще только девятый час, утро прошло как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия, увидим, чем кончится вечер. А пока совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очиненные. По милости ротного писаря я еще не чувствую своей утраты. А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо: «Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять. И в шканечных журналах врут, а в таком, в домашнем, и Бог велел».

Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго, пожалуй, и искусил бы лукавый враг истины, но я, как сказал поэт наш,

Пишу не для мгновенной славы,

Для развлеченья, для забавы,

Для милых искренних друзей,

Для памяти минувших дней.

Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись записной тетрадью. Что бы я записал в ней? Правда, в продолжение этих десяти лет я видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на все это? Как арестант смотрит из тюремного решетчатого окна на веселый свадебный поезд. Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную монотонную десятилетнюю драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее мое, моя коварная память! Не возмутим сердца любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим темных мучителей наших, как простил Милосердый Человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлomu и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное и все, что сердце продиктует.

От второго мая получил я письмо из Петербурга от Михайла Лазаревского с приложением 75 рублей. Он извещает меня, или, лучше, поздравляет с свободою. До сих пор, однако ж, нет ничего из корпусного штаба, и я, в ожидании распоряжений помянутого штаба, собираю сведения о волжском пароходстве. Сюда приезжают иногда астраханские флотские офицеры (крейсера от рыбной экспедиции). Но это такие невежды и брехуны, что я, при всем моем желании, не могу до сих пор составить никакого понятия о волжском пароходстве. В статистических сведениях я не имею надобности, но мне хочется знать, как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний Новгород и какая цена местам для пассажиров. Но увы! При всем моем старании я узнал только, что места разные и цена разная, а пароходы из Астрахани в Нижний ходят очень часто. Не правда ли, точные сведения?

Несмотря, однако ж, на эти точные сведения, я уже успел (разумеется, в воображении) устроить свое путешествие по Волге уютно, спокойно и, главное, дешево. Пароход буксирует (одно-единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют, подчалками, до Нижнего Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву, а из Москвы, помолившись Богу за Фультонову душу, через 22 часа и в Питер. Не правда ли,

яркая фантазия? Но на сегодня довольно.

Нынешний вечер ознаменован прибытием парохода из Астрахани. Но как событие сие совершилось довольно поздно, в девятом часу, то до следующего утра я не получу от него никаких известий. Важного ничего я и не ожидаю от астраханской почты. Вся переписка моя идет через Гурьев-городок. А через Астрахань я весьма редко получаю письма. Следовательно, мне от парохода ждать нечего. Не вздумает [ли] батько кошовый Кухаренко написать мне? То-то бы одолжил меня старый черноморец. Замечательное явление между людьми этот истинно благородный человек. С 1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так[же] не знал и о моем местопребывании. И будучи в Москве во время коронации депутатом от своего войска, познакомился со стариком Щепкиным и от него узнал о месте моего заключения. И, благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое душевное письмо. Через девять лет и не забыть друга, и еще в несчастье друга. Это редкое явление между себялюбивыми людьми. С этим же письмом, по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени, прислал он мне на поздравку 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву.

По случаю этого дружеского неожиданного приветствия я расположил было мое путешествие таким образом. Через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Кухаренку. Насмотревшись досыта на его благородное выразительное лицо, я думал проехать через Крым, Харьков, Полтаву, Киев в Минск, Несвиж и, наконец, в село Чирковичи и, обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залецкого, через Вильно проехать в Петербург. План этот изменило письмо М. Лазаревского от 2 мая. Из письма этого я увидел, что мне, нигде не останавливаясь, нужно поспешить в Академию художеств и облобызать руки и ноги графини Настасии Ивановны Толстой и ее великодушного супруга графа Федора Петровича. Они единственные виновники моего избавления, им и первый поклон. Независимо от благодарности этого требует простая вежливость. Вот главная причина, почему я, вместо ухарской тройки, выбрал тридцатидневное монотонное плавание по матушке по Волге. Но состоится ли оно, я этого еще наверное не знаю. Легко может статься, что я еще в хламиде поругания и с ранцем за плечами попунтирую в Уральск в штаб батальона № 1. Всего еще можно ожидать. И потому не следует давать слишком много воли своему неугомонному воображению. Но утро вечера мудренее. Посмот[рим], что завтра будет. Или, лучше сказать, что привезет гурьевская

почта.

14 июня

Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал. Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? Как бы не сглазить. Если правду сказать, я не вижу большой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так – от нечего делать. На безделья и это рукоделье. Записному литератору или какому-нибудь поставщику фельетона, тому необходима эта бездушная аккуратность как упражнение, как его насущный хлеб. Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные писатели, так делают и пачкуны. Гениальные писатели потому, что это их призвание. А пачкуны потому, что они иначе себя и не воображают, как гениальными писателями. А то бы они и пера в руки не брали.

Какое же казусное событие запишу я сегодня? А вот какое. Вчерашний пароход разрешился порядочным мешком целковых и арапчиков. Это третное жалованье гарнизона. Офицеры сегодня же его и получили, и сегодня же отнесли его Попову (маркитанту) и спиртомеру (цаловальнику), а остальное тоже отослали к спиртомуру и начали кутить, или, вернее, пьянствовать. Завтра выдадут жалованье солдатам, и солдаты тоже начнут кутить, т. е. пьянствовать. И это продлится несколько дней сряду. И кончится как солдатская, так и офицерская попойка дракой и, наконец, курятником, т. е. гауптвахтой.

Солдаты – самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, одним словом, все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано все, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы еще были так называемые старые бурбоны. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов. Хорошо должно быть воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешевое. А главное, скорое.

Восемнадцатилетний юноша, уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца. Жалкая мать и глупый отец.

Кажется, Козак Луганский написал книгу под заглавием «Солдатские досуги». Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал)? А если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять – какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если бы написал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров. Этим он оказал бы величайшую услугу чадолюбивым и эполетолюбивым родителям.

15 [июня]

Что же я сегодня занесу в свой журнал? Совершенно нечего занести. А ни-ни, ничего хоть сколько-нибудь выходящего из круга обыденной монотонной жизни. Сегодня поутру начал я рисовать портрет г. Бажанова черным и белым карандашом в киргизской кибитке на огороде. Прекрасное освещение. И я с охото[й] принялся за работу. Черт принес приятельницу – помешала. Я закрыл портфель и вышел из кибитки. Скромная приятельница не утерпела, взглянула одним глазком на мою работу и нашла решительное сходство, если бы рот и нос поменьше. И не удовольствовавшись собственным замечанием, спросила мнения у горничной и у своего фаворита Молчалина А. Это меня решительно взбесило, и я, не простившись, ушел в укрепление. В укреплении видел пьяную официю и выслушал историю о том, как вчерашнего числа раскроил лоб чубуком тестя своему будущему зятю Ч[арцу] тоже по случаю жалованья. Солдатам выдавали жалованье. Мне тоже выдали, я передал его своему еще трезвому дядьке и велел ему сшить из подкладочного холста торбу для дороги. Потом зашел к Мостовскому, выслушал в другой раз историю (с некоторыми прибавлениями) о будущем тесте и зяте, выпил рюмку водки и возвратился на огород. Обедал, после обеда, по доброму обычаю предков, заснул часика два, и тем кончи[ло]сь 15 число июня. О вечере совершенно нечего написать.

16 [июня]

Сегодня воскресенье. Я ночевал на огороде. Поутру был в укреплении. Дождь (весьма редкое явление) помешал мне возвратиться на огород, и я остался

обедать у Мостовского. Мостовский один-единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный. Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса. Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из военнопленных зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно интересных подробностей о революции 1830 года. Достоин замечания то, что поляк рассказывает о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений, редкая черта в военном человеке, тем более в поляке. Одним словом, Мостовский – человек, с которым можно жить, несмотря на сухость и прозаичность его характера.

Сегодня же милейшая миледи М[ешкова] сообщила мне, впрочем не по секрету, со всеми подробностями, историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем. Из этой истории можно бы выкроить водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики. Назвать его можно «Свадебный подарок, или недошитая кофта». Дело вот в чем. Жених в прошедшем месяце отправился в Астрахань купить свадебные подарки для своей невесты. Для этой милой необходимости взял он у своего будущего тестя, такого же голыша, как и сам, последние крохи с тем, чтобы при получении жалованья возратить эти крохи. Хорошо. Жених возвращается из Астрахани и отдает унтер-офицерше Петровой сшить для своей невесты ситцевое платье и коленкоровую кофту. Хорошо. Унтер-офицерша шьет, а между тем получается на гарнизон жалованье. Но увы! Несчастному жениху выдают на руки всего-навсего два с полтиной, а все остальное удержано в батальоне, по его же собственным распискам. Но герой, как ни в чем не бывало, посылает своего верного раба Григория к спиртомеру за четвертью полугару и с торжествующей физиономией, сопровождаемый Григорием с четвертью в руках, отправляется к будущему тестю. Начинается поздравка с получением жалованья. Но увы! И на старуху бывает проруха. Бедный жених слишком увлекся будущим счастьем и в жару мечтаний проговорился, что он получил жалованья всего-навсего только два с полтиной. Разочарованный будущий тесть, тоже в жару негодования, хватил своего милого зятя чубуком по лбу, да так хватил ловко, что кровь полилася с благородного чела. Но чтобы не показать соседям, что между ними вышло контро, они принялись вдвоем бить собаку. Бедная собака! Но этим дело не кончилось. Догадливый раненый герой бежит к портнихе, но увы! платье уже отдано невесте, осталась только недошитая кофта; он отбирает у портнихи этот неоконченный предмет и закладывает жидку-солдату за две чары водки. Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик.

И это гнусное происшествие, не выходящее из круга обыкновенных происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой год уже кончаю. Страшно! Теперь, когда уже узнали о моем освобождении, то ближайшие мои начальники – фельдфебель и ротный командир, не увольняя меня от ученья и караула, позволили мне свободные часы от службы проводить на огороде, за что я им сердечно благодарен. На огороде, или в саду – летняя резиденция нашей комендантши, и все свободное время теперь я провожу в ее семействе; у нее двое миленьких детей, Наташенька и Наденька, и это единственный мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье.

17 [июня]

Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и ласточки нарушали изредка только сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение! Ничего не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения, особенно перед лицом улыбающей[ся], цветущей красавицы матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно погружается сам в себя и видит Бога на земле, как говорит поэт. Я и прежде не любил шумной деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни уединение мне кажется настоящим раем. А я все так и не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сажу или лежу молча по целым часам под моею любимую вербою, и хоть бы на смех что-нибудь шевельнулось в воображении. Таки совершенно ничего. Настоящий застой. И это томительное состояние началось у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. В особенности благодарен я ему за «Записки о Южной Руси». Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как будто с живыми беседую с ее слепыми лирниками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной исторической литературе. Пошли тебе Господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки мои – заметки пьяного человека и ничего больше. Кроме Суботова, т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. Но

такое ничтожное пятнышко не должно быть замечено на драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвала этой книги, послать ее Кухаренку и теперь жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвала. А во-вторых, потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст Бог, я ему из Петербурга вышлю чистенький экземпляр.

Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно, дракой.

18 [июня]

Сегодня я, как и вчера, точно так же рано пришел на огород, долго лежал под вербою, слушал иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне Межигорского Спаса, Дзвонковую Криницу и потом Выдубецкий монастырь. А потом – Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно не виданные предметы. Скоро ли увижу все это я наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня, а тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня распоряжения? Холодные, равнодушные тираны! Вечером возвратился я в укрепление и получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожидаемой почты и с таким трепетом ожидаемой Свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого бесконечного ожидания.

Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году в этом месяце меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. А теперь, дай Бог, на седьмой месяц получить от какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма, но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.

19 [июня]

Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталионного командира. А по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли амуницию. Какое гнусное грядущее важное событие! Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка амуниции! Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе всякое человеческое достоинство, стать навтыряжку, слушать команды и двигаться, как бездушная машина. И это единственный, опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству, и просвещению.

Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любит себя унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь.

В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывае[т] с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по ме[ре] столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли, или оно так есть в самой вещи, только мне не удалось, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то такж[е] хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнято благородней[шу]ю часть моего бедного существования. Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностью.

Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Н[иколай] запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромное государство в мире, выросло на началах Христовой заповеди. Флорентинская республика – полудикая, исступленная средневековая христианка, но все-таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Альгиери. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.

Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию? Или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации, я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество – и ничего больше. Майор Мешков, желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь, как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однако ж, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека, почему я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата.

Вторая, и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному сатрапу и наперснику царя пригрелось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня – не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключении приговора сказано: «Строжайше запретить писать и рисовать». Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать – и сам верховный судья не знает, за что запрещено. А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное, развращенное сердце. И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славой щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки, или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славильщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и

благодаяния. Мерзавцы!

20 [июня]

Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую Косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя. Гроза, гроза ужасная близится. Баталионный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя во облаце мрачне, в том числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судии и карателя пропившиеся до снаги блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, а паче душевные, и тем спасти их от праведного суда гро[мо]носного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата солдата, также пропившегося до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира, Никольский кладет на койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя, что на его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь гривен в продолжение суток в кармане, не считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается и причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву и другим чающим и не могущим вымолить защиты у жестокосердого эскулапа?

К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было, однако же, и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и вздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельнобагровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и в заключение выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить Бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.

Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел, а должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное назидание от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дожду ли я

тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.

Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего Всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летущего старика Сатурна, а никак не следствие горького опыта.

Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значит, с приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, и вторым письмом со вложением, еще менее вещественным. Со вложением небывалого рассказа мнимого варнака под названием «Москалева криныця». Я написал его вскоре по получении письма от батька отамана кошового. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст Бог, вырвуся на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы свободы?

21 [июня]

Вперед, вперед, моя история,

Лицо нас новое зовет.

У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление вместе с комендантом, он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике Киреевском. Полковник этот Киреевский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых

поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следующее дело показывает, что г[раф] П[еровский] весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и 600-ми крепостных душ.

История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Киреевским, просил его, когда он выехал в Петербург, просил он его и лично и письмом из Новопетровского укрепления как в некотором роде химика и знатока фотографического дела. Просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Киреевский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу. И потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходи[мы]ми химическими солями. Тем все и кончилось. Благородный, обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу, чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Киреевским. От Марковича еще известие не получено. А из «Русского инвалида» видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Киреевский принят новым генерал-губернатором Катениным, тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600 душ крестьян, аристократ, наперсник г[рафа] П[еровского], наконец, полковник Киреевский – подлец и негоднейшая тряпка.

Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Киреевского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.

Сегодняшним же числом мне хочется записать, или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напичкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем, ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это двадцатилетний юноша, сын статского советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета.

25 [июня]

Только что успел я написать «Следовательно, тоже птица не мелкого полета», как раздалось во всех концах огорода слово «пароход». Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однако ж, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно, и волшебного, очаровательного слова. А вместо оного слова привез дело в виде рыжей весьма непривлекательной персоны, т. е. привез баталионного командира, первым делом которого было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до профоса. А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, – приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастье принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5-ти и до 7-ми часов, во ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился во всем своем грозном величии сам судия и испытывал, или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10-ти часов. В заключение спектакля спросил претензию, ругнул в общих выражениях, посулил суд и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих подтвержденных должен был и я предстать после обеда в 5 часов на вторичное и еще горшее испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно как человек вполнину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполнину свободного, во мне не осталось, та же самая мучительная хо[ло]дная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние года, чувство – нет, не чувство, а мертвое бесчувствие – охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как

на меня? Экзамен повторился слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ра[н]жиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.

- Ты за что? - спросил он у первого.

- За утрату казенных денег, Ваше высокоблагородие.

- Да, знаю, ты неосторожно загнул угол. Наде[ю]сь, вперед не будешь гнуть углы, - сказал он насмешливо и обратился к следующему.

- А ты за что?

- По воле родительницы, Ваше высокоблагородие.

- Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и... - и обратился к следующе[му].

- Ты за что?

- За буйные поступки, Ваше высокоблагородие.

- Хорошо. Надеюсь, вперед... и...

- Ты за что? - спросил он у следующего.

- По воле родителя, Ваше высокоблагородие.

- Надеюсь... а ты за что? - спросил он, обращаясь ко мне.

- За сочинение возмутительных стихов, В[аше] высокоблагородие.

- Надеюсь, вперед не будешь...

– А ты за что, за что? – спросил он у последнего. Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обрат[ил] к нам сильную назидательную речь, замкнувшаюся весьма новой истиной, что за Богом молитва и за царем служба не пропадают.

В заключение церемонии спросил он у ротного командира, почему Порциенко не явился на испытание, на что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти подтвержденные, так называемые господа дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю с своими отвратительными героями – пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобоисполнимую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь – вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее – предоставить их попечению нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.

До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня порастил своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам. Слово «несчастный» имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлело, и я до сих пор не могу вернуть ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.

По распоряжению бывшего генерал-губернатора, довольно видного политика Обручева, я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклеянным злодеям слово «несчастный» более к лицу, нежели этим растленным сыновьям беспечных эгоистов родителей.

26 [июня]

Два дни уже прошло, как выехал от нас отец-командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смор так плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что если бы не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилел под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава Богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.

Надеждою живут ничтожные умы, – сказал покойник Гете. И покойный мудрец сказал истину вполтину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря, и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю – безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге? Увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною не виденный, услышу волшебницу оперу. О как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tn.knigapoisk.com/shevchenko_taras/zhurnal

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)